

Иван ОВЧИННИКОВ

# БУЛГАКОВЫМ В РЕДАКЦИИ «ГУДКА»

Воспоминания старого журналиста

Иван Семенович Овчинников (1890—1977), педагог и журналист, работал в газете «Гудок» со дня ее основания и был одним из тех, кто ведомственную газету сделал весьма популярным и читаемым не только путевыми изданиями. В середине двадцатых годов он заведовал знаменитой «Четвертой полосой», к работе над которой привлек В. Катаева, И. Ильфа, Е. Петрова, Ю. Олешу, К. Паустовского, Л. Славику, М. Булгакова.

Воспоминания старого журналиста о работе с Михаилом Афанасьевичем Булгаковым, которому 15 мая нынешнего года исполнилось бы 95 лет, относятся к периоду 1923—1926 годов. Михаил Булгаков был принят в штат «Гудка» литературным обработчиком весной 1922 года, но вскоре, перейдя в производственный, а затем в профсоюзный отдел, стал публиковать свои корреспонденции, заметки, фельетоны.

Первая заметка начинающего журналиста «У курян» была опубликована 12 апреля 1922 года, последний булгаковский фельетон «Нолесо судьбы» напечатан в «Гудке» 3 августа 1925 года. Всего в газете за подписью М. Булгакова и под различными псевдонимами

маши появилось около 120 корреспонденций и фельетонов. О сатирической газете «Четвертой полосе» «Сопли и вопли» много рассказано и у других мемуаристов. Там, А. И. Эрлих в своей книге «Нас учила жизнь» также приводит немало смешных эпизодов, связанных с этой выставкой словесных несуразностей и газетных ляпсусов. Однажды туда попала и публикуемая сегодня «Литературной Россией» малоизвестная фотография М. Булгакова, где он, не страдавший тогда плохим зрением, надел ради шутки монокль. Вот как об этом пишет А. Эрлих: «Однажды в комнату «Четвертой полосы» занесена была странная вещь: в витрине художественного магазина на Кузнецком мосту выставлен некий портрет... Если бы не монокль... не архаичная осанка в повороте головы, не легкая надменная гримаса... вызванная необходимостью зажимать подбровными мускулами оптическое приспособление, можно бы побиться об заклад, что это... это Михаил Афанасьевич... это Булгаков! Как-то мимоходом мы проверили, — так оно и оказалось: ои!..»

Однажды он зашел в комнату «Четвертой полосы» и тотчас увидел собственный портрет среди прочих подробностей нашей веселой выставки. Была долгая пауза. Потом он обернулся, вопросительно оглядел всех нас и вдруг расхохотался. — Подпись не хватает, — сказал он. — Объявить конкурс на лучшую подпись к этому портрету!.. Где достали? У Наппельбаума? Мы никогда больше не видели его с моноклем».

И. С. Овчинников проработал в «Гудке» до середины тридцатых годов, а затем перешел на преподавательскую работу. В лихую военную годину вступил добровольцем в народное ополчение, а после войны снова учительство. Но тянуло его всегда в родной «Гудок», и, уже выйдя на пенсию, в середине пятидесятых годов он снова вернулся в свою газету, где проработал еще более десяти лет.

Свои воспоминания Иван Семенович написал по просьбе Татьяны Николаевны Кисельгоф (1892—1982), бывшей женой М. А. Булгакова с 1913 по 1924 год, то есть и во время его работы в «Гудке». После смерти автора эти мемуары были переданы Т. Н. Кисельгоф и из ее собрания впервые представляются вниманию читателей.

возвращается, потрясен над головой растрепанным томиком:

— Прошу внимания! Убедительно прошу внимания! Читаем! — Михаил Афанасьевич находил нужную страницу и начинал читать: — «Даже в те часы, когда совершенно потухает петербургское серое небо... когда все уже отдохнуло после департаментского скрипяния перьями, беготни, своих и чужих необходимых занятий... когда чиновники спешат предать наслаждению оставшееся время...»

Проходит минута, две — Булгаков читает. Но вот он резко захлопнул книжку и окидывает каждого из нас гордым взглядом фокусника и победителя: — Ну как? Дошло? Фразочка из гоголевской «Шинели». Прошу убедиться: с предложениями и союзами точно двести девянаццадцать честных русских слов — и без никакой такой Сухаревики.

Мы слегка обескуражены. По долгу теоретика и методиста возражать начинает Перелешин. — Ну и в чем же дело? — скучно таяет он, давась приговорной зевотой. — Так это же Гоголь! Так это же гений! Товарищ Павлов, а сколько, скажите, Гоголей в вашей рабкоровской пятерке? Ни одного! Товарищ Булгаков, а сколько, скажите, фраз протяженностью в двести девянаццадцать слов написали вы сами за все свое литературное житье-бытье? Ни одной! Так в чем же, спрашиваю еще раз, дело? И какое отношение имеем мы к Гоголю, а Гоголь к нам? Мы сотрудники массовой газеты, и в этом своем рабочем качестве мы держимся твердого, тысячу раз проверенного правила: в газете две короткие фразы всегда лучше одной длинной... Аминь!..

Булгаков не сдается: — Но гоголевская фраза в двести слов — это тоже идеал, причем идеал бесспорный, только с другого полюса. Так почему же вы, педагоги на час, не хотите сказать рабкорам об этом идеале? Товарищ Павлов, я протестую! Будете читать рабкорам свои сумасшедшие советы, обязательно прочитайте как противоядие и моего Гоголя Я настаиваю!..

Павлов добродушно улыбается: — А ведь это идеал! Советы размножу и дам каждому вместо памятки. Ну а Гоголя обязательно прочитаем вслух. Пусть увидит литературное поле в оба глаза на каком-то птичьем жаргоне? Позвольте! Минутку!..

Булгаков опростетью несется к себе в комнату и сейчас же



М. А. БУЛГАКОВ. 1925 год.

возвращается, потрясен над головой растрепанным томиком:

— Прошу внимания! Убедительно прошу внимания! Читаем! — Михаил Афанасьевич находил нужную страницу и начинал читать: — «Даже в те часы, когда совершенно потухает петербургское серое небо... когда все уже отдохнуло после департаментского скрипяния перьями, беготни, своих и чужих необходимых занятий... когда чиновники спешат предать наслаждению оставшееся время...»

Проходит минута, две — Булгаков читает. Но вот он резко захлопнул книжку и окидывает каждого из нас гордым взглядом фокусника и победителя: — Ну как? Дошло? Фразочка из гоголевской «Шинели». Прошу убедиться: с предложениями и союзами точно двести девянаццадцать честных русских слов — и без никакой такой Сухаревики.

Мы слегка обескуражены. По долгу теоретика и методиста возражать начинает Перелешин. — Ну и в чем же дело? — скучно таяет он, давась приговорной зевотой. — Так это же Гоголь! Так это же гений! Товарищ Павлов, а сколько, скажите, Гоголей в вашей рабкоровской пятерке? Ни одного! Товарищ Булгаков, а сколько, скажите, фраз протяженностью в двести девянаццадцать слов написали вы сами за все свое литературное житье-бытье? Ни одной! Так в чем же, спрашиваю еще раз, дело? И какое отношение имеем мы к Гоголю, а Гоголь к нам? Мы сотрудники массовой газеты, и в этом своем рабочем качестве мы держимся твердого, тысячу раз проверенного правила: в газете две короткие фразы всегда лучше одной длинной... Аминь!..

Булгаков не сдается: — Но гоголевская фраза в двести слов — это тоже идеал, причем идеал бесспорный, только с другого полюса. Так почему же вы, педагоги на час, не хотите сказать рабкорам об этом идеале? Товарищ Павлов, я протестую! Будете читать рабкорам свои сумасшедшие советы, обязательно прочитайте как противоядие и моего Гоголя Я настаиваю!..

Павлов добродушно улыбается: — А ведь это идеал! Советы размножу и дам каждому вместо памятки. Ну а Гоголя обязательно прочитаем вслух. Пусть увидит литературное поле в оба глаза на каком-то птичьем жаргоне? Позвольте! Минутку!..

Булгаков опростетью несется к себе в комнату и сейчас же

НАЧАЛО двадцатых годов...

Мы с Булгаковым работаем в «Гудке». Я заведу бытовую «Четвертой полосой», он — литературный сотрудник профсоюзного отдела.

Сидит Булгаков в соседней комнате, но свой тулупчик он почему-то каждое утро приносит на нашу вешалку. Тулупчик единственный в своем роде: он без застежек и без пояса. Сунул руки в рукава — и можешь считать себя одетым.

Сам Михаил Афанасьевич аттестует тулупчик так:

— Русский охабен. Мода конца семнадцатого столетия. В летописи в первый раз упоминается под 1377 годом. Сейчас у Мейерхольда в гаших охабнях думные бояре со второго этажа падают. Пострадавших актеров и зрителей рынды отвозят в институт Склифосовского. Рекомендую посмотреть... Будущему драматургу и режиссеру Булгакову это претит. Он за театр реалистический... Высмеять противника — не только его право, но в своем роде как бы даже обязанность...

Вечером Михаил Афанасьевич «воленис-неволенс» опять появляется в нашей комнате — взять тулупчик. Ну а раз зашел — сейчас же бесконечные споры и разговоры, а при случае — даже легкая эстрадная импровизация, какая-нибудь наша злободневная небылица в лицах. А главный заводила и исполнитель, как всегда, Булгаков. — Ага, вот и он! Переступил порог — и сейчас же начинается лицедейство. В булгаковском варианте разыгрывается пародийный скетч «Смерть чиновника».

Тема и интонация целиком чеховские: — Не мой, начальник, чужой, но все равно неловко. Опоздал, задержал. Надо извиниться!.. Без всяких вступлений импровизируется сцена извинения. Тулупчик переброшен через левую руку. Правая — у сердца. Корпус в полупоклоне. Так, не разгибаясь, расшаркиваясь, то левой, то правой, Булгаков отступает задом до самой двери.

Но вот остановился и выпря-

мился. Дернул головой снизу вверх, как бы сбрасывая с себя чужую личину, которую только что донес до этого места.

Секунду мы смотрим друг на друга и начинаем оба хохотать. — А ведь здорово это получалось у Антона Павловича! — сдерживая смех, говорит Булгаков.

— Оно и у Михаила Афанасьевича неплохо вышло! — отвечаю я ему в тон.

Мы снова начинаем дружно хохотать и так со смехом и вываливаемся в коридор.

Варируясь в деталях, подобные встречи у нас с Михаилом Афанасьевичем бывали чуть ли не ежедневно. Взять тулупчик и молча шмыгнуть из комнаты он считал неприличным. Поэтому по пути от вешалки к двери он всегда успевал что-нибудь рассказать. Рассказы эти назывались у нас квартплатами за вешалку...

Монахи, служители Будды, показывают замечательный мимический номер — «Танец с тридцати настроений». Никто не считал, сколько и каких настроений может сценически выразить Булгаков, но, прирожденный мим, свои комедийные личины он меняет с необычайной легкостью...

В одну из очередных наших встреч Михаил Афанасьевич начал разговор какими-то полунамеками.

— Заинтересовался геральдикой. Любопытнейшая, доложу вам, наука! — сказал и тут же засмеялся.

Помолчал. — А недавно попал в гости в одну древнейшую дворянскую семью, — заговорил он опять, как бы продолжая прерванную мысль. — Хозяину за восемьдесят. Пришли два его бывших сослуживца. Одногодки. Начали разговоры. Старики много знают, многое помнят. А вот умрут и унесут все это с собою в могилу... Спрашивают, из каких я дворян — из курских или орловских. А я ведь ни из каких. Надо бы так и ответить, а я почему-то не могу. Получится, как будто я их все время в чем-то обманывал...

Мысли своей Михаил Афанасьевич так и не заканчивает.

Невольно сопоставляю факты: все эти охабни, рынды, геральдика — это же наше средневековье.

Похоже на то, что Михаил Афанасьевич усиленно вживается в одну из давних эпох нашей истории.

Но почему и зачем? Напишет исторический роман? Драмму?

Не знаю. Это вопрос для литературоведов и историков литературы. Сам он не говорил об этом даже предположительно...

В нашей комнате, в простенке, за спиной Ильфа висел большой лист картона, наполненный заклеенными газетными вырезками. В каждой вырезке какой-нибудь ляпсус, курьез, ошибка. Эти вырезки гудковская доска брака. Называется она «Сопли и вопли».

Доской брака вдруг очень заинтересовался сотрудник «Рабочей Москвы» Павлов. Увидев доску в первый раз, он не только внимательно прочитал ее вдоль и поперек, но многие вырезки тут же переписал в свой блокнот. То же самое проделывал он и дальше с каждой новой партией вырезок.

Выяснилось любопытное обстоятельство: к Павлову его редакция прикрепила пятерых рабкоров, из которых он в срочном порядке должен был сделать журналистов-профессионалов.

Никаких учебников и руководств по газетной работе в те годы не было, и наши вырезки он использовал как своеобразное пособие. Каждую вырезку он прочитывал со своими рабкорами и кратко ее комментировал: — Поняли? Так писать не надо!..

Материалы накапливались. Павлов пытался свести их в систему и сделать как бы памятку — «Советы рабкору». Но одному задаче оказалась не под силу. Пришел в «Гудок».

«Советы» сделали, но получились они убийственно «четвертополосными». Броско, зло и безбложно шаржированно. Вот некоторые из этих советов: — Не больше четырех отгла-

волярных существительных в предложении.

Например: «Выдавание книг производится при соблюдении непотерятии и неукраденния».

— Не больше девяти родительных падежей в определении.

Например: «Не отремонтированы печи помещения библиотеки общежития молодежи школы ученичества завода ремонта паровозов».

— Не больше двух слов в предложении от точки до точки.

Например: «Я ем. Он юн. Дождь шел. Море смеялось».

Три слова допускаются в виде исключения.

Например: «Клим, пей чай. Гости начали съезжаться».

Категорично? Даже чрезмерно. Но Олеша нашел веские доводы в защиту этой категоричности.

— Помните, товарищи, что это же идеал. Достигнуть его невозможно. — Поучал он с лукавою улыбкой Шайку. — Конечно, жаль, но что же поделаешь: идеалы, они обязательно недостижимы...

В комнату стрелнуть папиросу заскочил Булгаков. Покуривая у печной отдушны, в нашем «Клубе у вьюшки», Михаил Афанасьевич видел и слышал все, что выкамаривала братва с материалами доски брака. Решил вмешаться:

— Товарищи звери, прошу слова!

Швырнул окурок за пачку и решительно подступил к столу. За столом — Перелешин, Павлов, Ильф, Петров. Чуть поодаль — Олеша.

Заговорил без приглашения: — Так вот, друзья хорошие! То, что вы головотяпы и, извините, негодяи, — об этом молчу. Это вам лучше, чем Булгакову, известно. То, что вы без конца коверкаете и мордуете рабкоровские письма, — это не новость тоже. Тут дело ваше хозяйское, как говорят, внутреннее и сугубо частное. Об этом помолчим тоже. Но скажите, кто дал вам право вывихивать мозги им в чем не повинным рабкорам товарища Павлова? И еще скажите, что это за идеал такой — косноязычная фраза в два слова да еще на каком-то птичьем жаргоне? Позвольте! Минутку!..

Булгаков опростетью несется к себе в комнату и сейчас же

Встреча короткая, но зато с музыкой.

Последние пять лет своей жизни Булгаков работал в Большом театре литературным консультантом. Работал отлично. Вот как оценил эту работу директор Большого театра Я. Л. Леонтьев в одном из своих выступлений.

— Его врожденная музыкальность, — говорил он о Булгакове, — помогла нам в том, что он вместе с творческими работниками Большого театра умел принести пользу так, чтобы условное оперное и балетное искусство прозвучало понастоящему...

Вспомнился и мне один случай из музыкальной биографии Михаила Афанасьевича, рассказанный однажды на досуге им самим...

Рабочий день окончен... В комнате мы двое с Булгаковым. Ждем гранок.

За стеной, в пустой комнате, слышно, шагает из угла в угол Арон Исаевич Эрлих. Как и лас, его задерживают гранки. Ноет сладенкий, крохотный тенорок: «Сегодня ты, а завтра... Пусть неудачник плачет», две sacramentalные фразы, которые всегда поет Эрлих.

Булгаков стучит кулаком в стену, Пенне смолкает. Через минуту Эрлих в нашей комнате.

— Вы ко мне стучали? Не гпирайтесь! — гудит он сердитым баритоном, превращаясь в легиона.

— Стучали, — рассеянно улыается Булгаков. — Садитесь, роша, посудачим. Знать ли, долевают воспоминания, а они всегда немножко размагничивают. Хотите, расскажу, как я играл в Баттистини? Поучительно, тебя, Арон, как у хорошего гальянца, голос поставлен от природы. Даже завидно! А вот яеня бог обидел... Говорят, что о строению гортани наши кивляне без трех минут итальянцы. Не знаю, не проверял. Но мы-то с тобой не итальянцы и даже не кивляне. Так что же ебя-то природа так балует своими милостями? Непостижимой!..

— Михаил Афанасьевич, как насмешничает! Нехорошо! — останавливает его Эрлих. — Ты хотел рассказать что-то про Баттистини? Ну вот и расскажи! Тросим!

— Рассказ короткий, короче воробьиного носа, — Булгаков достал было портсигар, но, не закурив, сунул его обратно в карман. — Ну так слушайте... Дело было в Киеве, в бытность мою студентом-медиком тамошнего университета. Вообразив, что у меня голос, я решил поставить его по всем правилам локального искусства. Сказано — сделано. Записался приходившим в консерваторию, толкаюсь по профессорам, извожу домашних бесконечными вокализациями. Ну а по вечерам собираемся в одной очень культурной семье — музицируем. Вокалисты, виолончелисты, скрипачи. Сама мамаша — пианистка, дочь — арфистка... Вот тут-то и подсекла меня эта самая проклятая встреча, о которой я хочу рассказать...

М-да... Так вот, приходит как-то на наше вечернее бдение мой преподаватель по вокалу, а с ним мальчик... Лет ему даже не двадцать, а, вероятно, девятнадцать. Мальчик как мальчик. Росту моего, среднего. Только грудная коробка — моих две. Не превеличиаво. Профессор сел за рояль. «Сейчас, — говорит, — вы услышите «Эпиталаму» — только, пожалуйста, не судите строго. Искусства, говорит, у нас пока еще мало, но материал есть — это вы сейчас почувствуете сами». Сделал профессор на рояле вступительные трень-брень и кивает через левое ухо мальчику — мол, давай. Ну, тот и дал! С первой же ноты он шаркнул таков форте, что все мы разинули рты, как звонари у Ивана Великого. Знаете, звонари и пушкеры разевают рот, чтобы не полопались барабанные перепонки. Вот так мы и стоим с открытыми ртами, смотрим друг на друга. А подвески на люстре даже не авенят, а вроде да-

же подвывают как-то. Что дальше пел мальчик, как пел, ей-богу, не помню. Отошел я к сторонке и тихонько самому себе говорю: «Вот что, дорогой друг Михаил Афанасьевич! Материал пусть поет, а у нас с тобой материала профессор не нашел — давай-ка замолчим... Ну и замолчал Крышка! Так с тех пор и не пою... То есть, как вам сказать — и пою, и не пою. Знаете, как говорят итальянцы: человек, который поет на лестнице, певцом не будет. Так вот я пою теперь только на лестнице. Понятно?»

— Понятно, — говорит Эрлих. — Тонкий намек на толстые обстоятельства. Камешек в мой огород, выходит. Выходит, что мне тоже надо пение бросать! Дудки-с! Петь все равно буду: «Сегодня ты, а завтра я... Пусть неудачник плачет»...

— Вот, вот, — смеется Булгаков. — Неудачник — это я, значит, мне и плакать. А ты — пойд на здоровье... Особенно на лестнице, когда никто не слышит...

В «Клубе у вьюшки», на литературной гудковской бирже, как новеллист высоко котировался О'Генри: всегда, мол, интрига, всегда остроумно, завяжет с первой строки, а развязка в последнем абзаце и обычно совершенно неожиданная.

Сам довольно искусственный новеллист, В. П. Катаев, сравнивая с О'Генри наших писателей, как-то пожаловался:

— Пишут скучно, плохо, никакой выдумки. Прочитаешь два первых абзаца, а дальше можно не читать. Развязка разгадана. Рассказ просматривается насквозь до последней точки. Задеть за живое, вдруг встревает другой наш новеллист — Булгаков:

— Клянусь и обещаю: напишу рассказ, и завяжу не развяжете, пока не прочтаете последней строчки.

И написал! И, насколько помнится, даже напечатал! Название рассказа — «Антонов огонь». Вот его канва.

Дерева бунтуют. Революция. Помещик бросил усадьбу и сбегал. Батраки, дворня, ставши хозяевами экономии, живут, как умеют. Водовоз Архип растер сапогом ногу. Начинается гангрена — антонов огонь. Срочно надо ехать за врачом, а лошади нет. Общая растерянность, тревога. А ночью в усадьбе пожар. Тайно вернулся ее владелец — князь Антон — и спалил постройки. По авторскому замыслу пожар и был тот настоящий Антонов огонь, который дал заголовок рассказу. Но раскрывается это действительно только в последнем абзаце.

Когда Михаил Афанасьевич читал вслух «Антонов огонь», мне вспомнился один давнишний наш с ним разговор...

...Я как-то... рассказывал действительно происшествие; о которм целый год толковали в нашем уезде.

А получилось так. Один наш кулак-отрубщик собственноручно спалил свой хутор, зарезал пять племенных баранов и, пьяный, пришел с косой на коношню резать сужолия жеребцам-производителям. Тут голубчика и цапали его же бывшие конюхи.

— Позвольте! Это же очень интересно! — оживился вдруг Михаил Афанасьевич, выслушав рассказ. — Так сам и спалил? Ей-богу? Это же надо обмозговать!..

Почти уверен, что князь-поджигатель как литературный образ впервые возник перед Булгаковым в эту именно минуту. А дальше обычная литературная кухня: три грамма сюжета, два грамма мотивировок, и — варено на тарелке!..

...Михаил Афанасьевич как человек и писатель — жизнелюб и величайший оптимист. И сила его таланта — сила светлая, жизнеутверждающая. Дожили он до наших дней, он шагал бы в одном строю с лучшими предшественниками века, во весь голос говорил бы на языке нашего времени.

Предисловие и публикация Бориса МЯГКОВА